

## АЗОВСКОЕ ПОДОЛЬЕ

Летом 1916 года в Таганрогском порту стоял старый разоруженный корвет «Запорожец».

Корвет оброс красной ржавчиной. Куски ржавчины отваливались от его железных бортов, падали в воду и тонули, поблескивая на солнце.

«Запорожец» был предназначен на слом и дремал в пустынном порту, как в музее. Его охранял долговязый матрос по фамилии Галаган. Он невозмутимо следил за тем, как медленно разрушается старинный корабль.

«Запорожец» был одним из первых русских паровых кораблей. Поэтому он сохранял еще некоторые особенности парусников. На его мачтах были реи и ванты. В низких каютах, казалось, застоялся солоноватый воздух кругосветных плаваний.

Сидя на палубе «Запорожца», я — тогда еще юноша — любил представлять себе далекие страны, где побывал этот корабль. Я смотрел на облепленный ракушками железный руль корвета и видел пенистые дороги, что тянулись некогда за ним по туманным морям. Они очень долго не исчезали, эти дороги, эти прочерченные корабельным килем следы.

Знакомый моряк объяснил мне, что следы за кормой держатся так долго потому, что пароходы грязнят морскую воду машинным маслом. Это объяснение мало меня устраивало в то время. Я предпочитал думать, что след за кормой образуется сам по себе, как некая живописная карта морских плаваний.

Я работал тогда в Таганроге подручным слесаря на маслобойном заводе. Завод изготовлял подсолнечное масло. Он стоял над обрывом на берегу моря, весь в зелени столетних акаций и запахе горячей макухи.

Крутая деревянная лестница вела с заводского двора вверх к особняку. Там жил в полном подчинении у своей тетушки владелец завода таганрогский миллионер Ваксов.

Это был рыхлый молодой человек, с рыжеватой бородкой. Таких людей принято называть «шляпами» и «тюфяками». Тетушка шила на Ваксова костюмы с запасом. От просторных чесучовых пиджаков Ваксов казался еще шире.

Старуха кудахтала над ним, как наседка. Она таскала Ваксова по церквам и зорко следила, чтобы племяннику не приглянулась какая-нибудь девица с городской окраины Бессергеновки — питомника таганрогских невест.

Когда Ваксов узнал, что я одно время учился в гимназии, он снизошел до того, что пригласил меня на ужин. Ваксову, очевидно, хотелось слыть вольнодумцем и меценатом: тогда это было модно среди купечества.

В жизни я не видел более скучного дома, чем особняк Ваксова. Хозяин водил меня по комнатам, оклеенным серыми обоями с лиловыми ирисами. Вдоль стен стояли боязливо прижавшись друг к другу, венские стулья. Посередине каждой комнаты торчал овальный стол, покрытый вязаной скатертью. Всюду висели гипсовые тарелки с акварельными изображениями диких уток, зайцев и глухарей.

На стеклянной террасе покачивались под потолком пустые железные клетки.

- Где же птицы? — спросил я Ваксова.

- Птички, слава те господи, подохли, — ответил он, усмехаясь, и толкнул одну из клеток. Она заскрежетала. — Надо бы все это выбросить на свалку. Но храню как память о папаше. Покойник был большим любителем попугаев и всяких редкостей. Поверите ли, держал в конюшне африканскую зебру, а на птичьем дворе — пеликана. Старое купечество всегда было с вывертами. Не то что нынешнее. Теперь нам всем в пример Третьяков, Савва Морозов и Мамонтов. Просвещенные деятели, жертвователи, устроители... Передовое купечество должно идти по ихним стопам. Только у нас в Таганроге ничего выдающегося не сделаешь. Провинция! Травянистая жизнь!

-А вы пробовали что-нибудь сделать?

- Пробовал. Картинки я начал скупать. Декадентские. Мечтал открыть картинную галерею имени Павла Ваксова. Сейчас это самое декадентское искусство — не разбери что! А может, лет через десяток картинка эти будут в цене... Кто знает!

-Интересно бы посмотреть.

Ваксов махнул рукой.

- Где там! Тетушка в мое отсутствие все картины пожгла. Говорит, блуд! Опекой мне грозила. Взять человека под опеку, да еще с таким гуманным характером, как у меня, — это в наше время раз плюнуть. Пришлось смириться. У тетушки на руках все мое дело. Она капиталом распоряжается по своему усмотрению. И моя ситуация, согласитесь, невыносимая. Шагу ступить не могу. В Париже, поверите ли, до сих пор не был! О Париже перед тетушкой и заикнуться нельзя. Говорит, блудный город! А попади я в Париж, так с моей щедростью я прогремел бы на весь земной шар. Я деньгам значения не придаю. Двадцать тысяч — французской академии! Двадцать тысяч — парижской опере! Двадцать тысяч — президенту республики на вспоможение бедным! В газетах беседы бы со мной печатали. Знаменитые красавицы вроде Лины Кавальери или Сарры Бернар...

- Павлик, — проговорил за дверью басовитый старушечий голос, — лучше ужинать иди с гостем со своим. Заболтался!

Ваксов нагнулся ко мне и зашептал:

- Поверите ли, ходит за мной, как крыса. Особые туфли заказывает одной здешней вдовице, совершенно бесшумные, на двойной войлочной подошве. Я узник! Несчастнейший человек на земле!

Ваксов снова в сердцах толкнул пустую клетку. Она закачалась и завизжала. Тотчас в соседней комнате зашаркали торопливые шаги.

- Шмыгает! — подмигнул Ваксов. — Беспокоится! В кои-то веки пригласил к себе интеллигентного человека. Гнида! Ей-богу, гнида!

В полном несоответствии с этими словами он улыбнулся и произнес сладким голосом, распахнув дверь:

- Слушаюсь, тетенька. Покорнейше прошу! — пригласил он меня. — Чем богаты, тем и рады.

К ужину старуха не вышла. Но, судя по тому, что Ваксов ерзал на стуле, она подслушивала за дверью. Подавал к столу сонный человек с обвисшими усами.

Ужин был довольно скудный. Но мне он показался роскошным, так как питался я тогда преимущественно серым хлебом, помидорами и зельтерской водой.

Это была великолепная зельтерская вода, какую умеют изготавливать только у нас на юге. Запотевшие стаканы с этой водой шипели на цинковых прилавках и разбрасывали брызги. В брызгах дрожали на солнце маленькие радуги. Настоящих же радуг в Таганроге почти не было: дожди и грозы обходили стороной эти степные берега.

Я работал на заводе и потому мог приходить на корвет только по воскресеньям. С борта «Запорожца» я удил бычков или читал лежа на палубе.

Читал я преимущественно стихи, и притом торжественные. Такие строчки, как «Солнца диск золотой, уходя из лазурной пустыни, погружается медленно в светлое лоно зыбей», вызывали у меня трепет.

Книги я брал в городской библиотеке, основанной Чеховым. Иногда библиотекарьша, пожилая женщина с черной бархоткой на шее, благоговейно показывала мне чеховские автографы. Я удивлялся изяществу его почерка. Удивлялся и тому, что Таганрог не оставил почти никакого следа в книгах Чехова. В них нет ни перистых акаций, ни бледного моря, ни ветров — трамонтан и низовок, — ни азовского говора.

По воскресеньям вместе со мной приходил на корвет еще один рыболов, отставной учитель географии Липецкий. Портовые мальчишки дали ему странную, но верную кличку «Моховой». Все на Липецком — фуражка, заплатанный китель и брюки — приобрело от

старости зеленоватый цвет. Казалось, что этот добродушный педагог действительно сильно замшел.

Липецкий был местным краеведом, знатоком Азовского моря и окрестных степей.

Он снимал комнатушку на Греческой улице, в том доме, где, как он предполагал, останавливался некогда Джузеппе Гарибальди. Скучная обстановка комнаты состояла главным образом из географических карт, книг и поблекших фотографий. Но самая удивительная вещь находилась во дворе. Это была скифская баба, высеченная из серого гранита. Липецкий привез ее еще в молодости из степи. Зернистый камень был отполирован тысячелетними ветрами, и потому плоское лицо скифской женщины блестело так, будто его смазали маслом.

Слушая рассказы Липецкого, я удивлялся множеству знаний этого старого человека и его любви к своему краю, к тем степям вокруг Таганрога, где ничего интересного я не замечал. Скучная глина, кое-где покрытая грязной коркой соли, пыльные ветры и пересыхающие мутные реки — вот все, что я знал об этих местах.

А я любил шум дождей, проселочные дороги, речные туманы, волны пшеницы и треск кузнечиков на знойных баштанах. Поэтому такие однообразные области, как Приазовье, казались мне мертвыми кусками земли.

Но после рассказов Липецкого юго-восток как бы начал для меня оживать. Это были земли, повитые легендами. Десятки народов — сарматы, скифы, половцы, хозары, гунны, татары, турки — прошли по ним. Следы древних народов остались под ковылем, под курганами. Переплетение корней скрывало скелеты, окрашенные в черный цвет, поломанные копья, погнутые шлемы, глиняные кувшины с остатками семян, золотые скифские маски.

— Дон — это древний Танаис, а Азовское море — бывшая Тамаринда! — восклицал Липецкий и поглядывал на меня сквозь толстые стекла очков.

Липецкий много рассказывал мне об истории края. Здесь, как он утверждал, было создано безвестным нашим пращуром «Слово о полку Игореве».

Здесь, на Дону и в Задонщине, по словам старинной казачьей «думки» (ее Липецкий любил напевать своим дребезжающим голосом), «засеяно поле невсхожими семенами, засеяно казачьими головами, заволочено поле казачьими черными чубами». Недаром появилось в этих степях сказание о бурьяне-татарнике. По весне степь покрывалась его алыми цветами, похожими на капли крови. И старики, вспоминая прошлое, рассказывали детям байки, что всюду, где пролилась казацкая кровь, вырос на ней и расцвел татарник.

Эх, далекое дело! Схватки с басурманами, закрученные в жгуты казацкие чубы, Чертомлыцкая Сечь!

Еще с тех времен родились мерные, как топот копыт, забубенные песни:

Гей, казаки, за семью дубами  
Заговала свою долю голытьба!

Старый учитель любил рассказывать о восстаниях Разина, Пугачева, Булавина — великих бунтах «голотвенных» людей, голытьбы. Сюда, за Дон, прорывалась бродячая Русь. Сюда ходили «бродники» воевать Турецчину, Азов, Кавказ, и турецкий султан жаловался, что русские не дают туркам «испить донской воды».

Потом начались первые морские походы Петра на неуклюжих кораблях из сырого воронежского дуба. Шла осада Азова. Новые крепости возникали на желтых глинистых мысах над мелководным и первым на юге российским морем.

— Русский народ так много пролил крови в придонских и азовских степях и вложил в них столько труда, — говорил Липецкий, — это эти жертвы даром не пропадут.

Липецкий, конечно, не мог предвидеть, что самая героическая и удивительная история края еще впереди. Мне суждено было стать ее свидетелем и современником, тогда как Липецкий давно уже умер.

Старый фотограф был почитателем Менделеева. Его, как и великого химика, занимали задачи, связанные с процветанием страны. Липецкого заботила судьба родного Азовского моря и Таганрога.

Азовское море умирало на глазах. Оно мелело. Большие морские пароходы уже не могли входить в Таганрогский порт. Они останавливались далеко на рейде.

Вместе с морем умирал и город. Липецкий еще помнил то время, когда через Таганрог потоком лилась в трюмы донская пшеница. Стаи голубей садились на звонкие каменные мостовые и кормились просыпанным зерном. Грохот окованных колес не затихал ни днем, ни ночью. Было похоже, что над Таганрогом перекачивается медленный гром. И в самом воздухе был как бы разлит слабый восковой блеск от гор пшеницы, наваленной на пристанях. Пароходы сутками дожидались погрузки.

Естественно, что у старого учителя возникла мысль о возрождении Таганрога... Шли годы, и чем сильнее мелело Азовское море, тем настойчивее эта мысль завладела Липецким. Если можно так выразиться, это была мечта-одиночка, потому что никто не обращал внимания на разговоры Липецкого. К Липецкому относились как к курьезной таганрогской достопримечательности. В то время в каждом провинциальном городе были свои юродивые и чудачки.

Сейчас, когда весь юго-восток страны тонет в грохоте и звоне исполинских работ, преобразующих эту землю, я вспомнил о Липецком с его беспомощным проектом возрождения Таганрога. Вспомнил и подумал, что революция изменила все существо человека, вплоть до его способности мечтать. Размах мечты стал в уровень с размахом времени.

А мечтания Липецкого совпали с глухим и тяжелым временем в жизни России.

О своем проекте возрождения Таганрога Липецкий впервые рассказал мне и Галагану на палубе «Запорожца» в тот вечер, когда вблизи города сел на мель пароход «Трувор». Портовый буксир потащил к «Трувору» пустые шаланды, чтобы разгрузить пароход и снять его с мели.

Синеватый воздух лежал над степью. Маяк зажег свой красный огонь, хотя было еще светло.

Кто не бывал на Азовском море, тот не может представить себе тамошние сумерки. Бледная вода. Громады кучевых облаков в перламутровых просторах неба. И первые звезды, глядящие в морскую глубину, где более слабым огнем загораются их двойники.

Желтый дрок, присыпанный пылью, висит, цепляясь за щели, на подпорной стене Воронцовского спуска. И удивительно, что от каждой лужи на пристани, налитой за день прибоем, пахнет океаном, хотя в Таганроге море еще пресное от избытка донской воды.

В этот вечер на палубу «Запорожца» долетал с берега треск бильярдных шагов и жиденький звон мандолины. Галаган жарил в ведре с углями пойманных нами бычков. На пристани около чугунного причала мяукал охрипший от отчаяния белый кот — выпрашивал жареную рыбу.

- Вот, — сказал с горечью Галаган, — был когда-то наш порт, как все порядочные порты. А сейчас одни коты здесь шлендрают. И растет по молам будяк.

- Болезнь всегда начинается с пустяков, — заметил Липецкий. — Вот «Трувор» сел на мель. Надлежит выяснить почему Азовское море так быстро мелеет за последние годы. Очевидно, Дон приносит гораздо больше ила, чем раньше.

- Тощает земля! — вздохнул Галаган. — Бывало, споймаешь сазана, так его двумя руками немислимо ухватить. А сейчас вытащил его, он дрыгнул хвостом, мигнул глазом — все! Сморился!

- Чепуха! — сказал Липецкий. — Не об этом я говорю. Вы лучше слушайте и соображайте. Когда-то по берегам Дона росли вековые дубравы, знаменитые донские леса. Леса эти вырубали. Теперь каждый ливень смывает целые поля земли и уносит ее в Дон. А Дон выволакивает эту землю в Азовское море и намывает огромные мели.

Липецкий помолчал.

- Ясно, как апельсин! — сказал он и махнул рукой. — Пройдет еще лет сто, и порт в Таганроге превратится в болото.

- Сюрприз! — сказал Галаган, переворачивая ножом шипящую рыбу. - Рассказывают же старослужащие матросы, будто видели они такие города на свете: было около них море, а потом ушло, отсосалось, и остались те города, ровно камбала на мели. Уснули, как рыба, и спят уже многие сотни годов. И не поймешь, брешут старослужащие матросы или говорят точно. Сами знаете, старослужащие насмешку любят делать над сухопутными и как почнут рассказывать, так мозги у тебя сдвинутся с места...

- Это как раз верно, — ответил Липецкий. — Есть такие города. Таким вот городом, потерявшим море, скоро будет и наш Таганрог. А чего проще — прорыть глубокий судоходный канал от Таганрога до открытого моря. А потом протянуть этот канал и до самого Ростова. Сразу оживет здешний край.

- Никто до этого дела рукой не доторкнется, Николай Петрович! — возразил Галаган. — Кто же вам даст на это средства? Царю не до нашего Таганрога. Ему интересно, чтобы у донских казаков чубы были намаслены да сапоги стояли бутылками.

- Я и сам знаю, что люди считают это пустой фантазией, — уныло согласился Липецкий.

Галаган повернулся ко мне:

- Есть у меня брат Петро. Вдовец. Рыбачит он на Петрушиной косе. И имеется у него дочка Ганна. Лет ей восемь. Так только она одна Николаю Петровичу без божбы верит. Честное слово! Кушали бы вы лучше, Николай Петрович, бычков, чем зря расстраиваться пустыми разговорами! Человек вы старый, отставной, живете на пенсию. Чего вам еще надо?

- Не мне надо, а людям надо, — строго ответил Липецкий. — Я писал об этом канале в Государственную думу. Два раза. Предлагал образовать для постройки канала акционерное общество. И, конечно, ни слуху, ни духу. Послал статью в одну газету. Оттуда мне так ответил один нахал, что вспоминать стыдно: «С несравненно большим успехом вы могли бы составить проект отопления березовым дымом Северного полюса или попробовать сажать деревья корнями вверх. Выпиливайте лучше столики из фанеры».

- А вот я этому свистозубу всыпал бы сорок линьков, — сказал Галаган. — Да еще бы намочил те линьки в соленой воде. Чтобы чувствовал, как над старыми людьми насмехаться.

В половине лета я взял у Ваксова отпуск и поселился на Петрушиной косе у брата Галагана, Петро.

Петро жил в маленькой хате, крытой очеретом. От стен пахло сырым мелом. Около завалинки росла кустистая трава. Из нее рыбачки вязали веники. Волна во время свежей погоды подбегала к порогу хаты и оставляла на песке скачущих раков — бокоплавов.

В маленьком садочке цвели желтые мальвы — «монашки» — и вялился на шнурах рыбец. В низкие окна задувал теплый морской ветерок.

Я почти забыл о разговоре с Липецким на палубе «Запорожца». Но, конечно, этот разговор не мог исчезнуть из памяти без следа. Он вызвал желание изучить окрестные степи, все это так называемое «Азовское подолье». Я начал пристально присматриваться к окружающему. А из пристального внимания родилась, как часто бывает, любовь.

У меня не было под рукой никаких книг, чтобы познакомиться по ним с Приазовьем. Я просто жил в степях на побережье, смотрел, прислушивался и запоминал. И вскоре могучее спокойствие степей и моря завладело мною с такой силой, что я был готов променять на них любимые северные леса.

Все окружающее постепенно сроднило меня с этими местами. Я заранее тосковал при мысли, что когда-нибудь придется их покинуть.

Единственным моим собеседником была в то время маленькая Ганна. Петро уходил каждый день на рассвете на смоленой шаланде-байде в море выбирать сети, потом отвозил улов на базар в Таганрог, а когда приезжал из города, то заваливался спать. Вечером он снова шел в море ставить, или, как говорят рыбаки, «высыпать», сети. Петро я почти не видел, за исключением тех редких дней, когда он брал меня с собой.

Море било мутноватой волной в борта байды и шумело на всем своем пространстве однообразным гулом. Потом над донскими гирлами подымалось солнце, и разгорался желтый степной день.

Ганна тихонько пела во дворе, возясь около очага. Она готовила отцу и мне «снелать». Пела она колыбельные песни своим тряпичным куклам Одарке и Господарке. Солнце и морская вода выжгли у этих кукол былую их красоту. Единственное, что осталось на круглых кукольных лицах, — толстые брови, намазанные смолой.

Светлые косы у Ганны были уложены венком вокруг головы. Глаза у нее были чуть зеленоватые и прозрачные, как морская вода на песках, а руки такие тоненькие, что я каждый раз пугался, когда она поднимала с очага тяжелый чугунок с кипящим борщом.

Первые дни Ганна дичилась меня, но скоро привыкла и начала без умолку рассказывать всякие небылицы.

- Слушайте, слушайте, — говорила она торопливо и держала меня за рукав, — что я вам расскажу! Есть у нас в море рыба. Зовется она «морское сердце». Потому что она колотится, как человеческое сердце. Вот так!

Ганна прижимала руки к груди и, широко открыв глаза, слушала, как бьется ее маленькое сердце.

- Вот так! Тук и тук! Тук и тук! Вы не думайте, что та рыба счастливая. Она, наоборот, несчастная и убогая. Потому что эта рыба старалась для бедных людей, для таких небог, как мой батя, что имеет одну сеть, да и та кругом рваная.

- Чем же она помогла небогам? — каждый раз спрашивал я, хотя уже знал конец этой истории.

Рыбу она до них пригоняла. Всякая рыба — будь то подсулок, селедка или лобан — слушалась ее без прекослова. Шла за ней рыба следом, и заводила она ту рыбу в сети к неимущим. Они, конечно, сети вытянут, продажную рыбу выберут, а «морское сердце» непременно в воду отпустят. Да еще и шапки перед ней скинут, поблагодарят низко за сострадание. Так тот рыбак с Геническа ослепил ее. Из зависти. С той поры ой как трудно стало рыбалить неимущим! Никто им в сети рыбу не приводит. Тетеньки у нас по косе кажут, что надо «морское сердце» поймать и пустить в ведро с наваром из серебра. Тогда глаза у нее оживут, и снова начнется жизнь для маломощных. А то они, маломощные, голодуют и оттого идут в крутай. А это, борони бог, какое рискованное дело — быть крутаем! Как вы скажете: правда это или просто брехня то, что я вам рассказала?

- Не знаю, — уклончиво отвечал я.

- Правда! — убежденно говорила Ганна, и глаза ее блестели. — Вот побожусь, что правда!

Я, конечно, не верил в эти старые рыбацкие басни, но все же, купаясь у берега, начал приглядываться к рыбакам, шнырявшим по песчаному дну. Где-то в уголке сознания застряла мысль, что, может быть, я увижу среди них «морское сердце» - все золотое, с синими плавниками и красным хвостом.

В ответ на мои расспросы о крутаях рыбаки отнекивались или отшучивались. В конце концов они начали говорить, что никаких крутаев нет и все это бабьи выдумки.

Узнал я о том, что такое крутай, при обстоятельствах довольно печальных. Узнал в одну из темных ночей.

Петро в этот день, после того, как «высыпал» сети, домой не вернулся. Я уснул в его каморке, но среди ночи меня разбудила Ганна.

- Дядя, — шептала она и дергала меня за руку. — Может, вы проснетесь? А дядя!

Я вскочил.

- Что случилось?

- Батя, мабуть, с крутаями ушел, — ответила Ганна и, сев на глиняный пол, захныкала.

Ночник-каганец тихо мигал. По хате бегали колючие тени от полыни, подвешенной к потолку. И равномерно, занятое своей вековой и великой думой, шумело, набегая на пески, ночное море.

- С какими крутаями? — спросил я спросонок. — Никаких крутаев нет. Это все бабы выдумки.

- Не! Не выдумки! Крутаи идут в такие ночи, как эта, когда ни одной звезды нету на небе, в донские гирла, в запретную воду. На самых легких байдах. У тех байд ход быстрый, как у ласточек.

- Зачем они ходят в гирла?

- За рыбой. Там рыба лежит в воде, как просо в коморе. Крутаи туда заходят, кидают на ходу сети, заворачивают и на ходу выбирают. Тикают поскорийше до дому. Потому что там, в тех водах, стоит на моторках охрана. Чуть не поспел, или парус заполоскал, или стукнул чем по борту — охрана заметит и почнет стрелять. В прошлый год так старого Арсения насмерть забили.

И она плакала уже в голос, вытирая слезы косой.

Я начал утешать Ганну, хотя и не поверил ее рассказу. Но вскоре над морем прокатились отдаленные ружейные выстрелы. Девочка бросилась вон из хаты. Я вышел следом за ней.

- Батько! — отчаянно закричала Ганна и по колени вошла в воду. — Батько! Сюда!

- Цыц, скаженная! — гневно прикрикнул из темноты женский голос. — И без твоего крику берег найдут. На то рыбаки!

Ганна затихла. Через несколько минут из морской мглы бесшумно вынырнула байда. Рыбаки молча соскочили в воду, вытащили байду на берег, быстро убрали сети и скрылись.

Среди рыбаков был и Петро. Он вошел в хату и тихо сказал Ганне:

- Дай тряпку чистую. Руку подбили, иуды! Гнались за нами до самой мигалки.

Тогда только я заметил, что рука у Петро замотана тряпкой и сквозь нее сочится и капает на глиняный пол темная кровь.

- Пол подотри! — сказал Петро и повернулся ко мне.

- Я ничего не видел, — сказал я Петро вполголоса.

- Спасибо вам, — ответил Петро. — Не от богатства мы на такое дело идем. Нужда под пули толкает.

Через несколько дней Петро вернулся с базара и рассказал о пышных похоронах, виденных им в Таганроге. Впереди похоронной процессии шли два соборных протоиерея и хор из греческой церкви. А покойница, даром что старая, а, должно, была девушкой, потому что лежала она в гробу, обитом белым муслином.

А за катафалком вся знать таганрогская валит, — рассказывал Петро. — Генералы с лентами и медалями. И даже городской голова с цилиндром в руке. Богатые похороны! Я бы на те похороны жил двадцать лет. Да еще и Ганне осталось бы на приданое.

- Кого же хоронили? — спросил я.

- Да тетку Ваксова, вашего хозяина. Кажут, что заядлая была старуха. Держала его в кулаке. Вот теперь он погуляет, Ваксов! Полетят все его капиталы к черту на припечку!

Эта мысль о неизбежной растрате Ваксовым своих миллионов толкнула меня на поступок, казавшийся мне в то время очень смелым. Сейчас, естественно, он представляется совершенно нелепым. Единственное, что оправдывает меня в собственных глазах, — это тогдашняя молодость.

Я тотчас вернулся с косы в Таганрог и помчался к Липецкому. Я рассказал ему о Ваксове, обуреваемом жадной громких дел. Я был уверен, что, освободившись от тетушкиной опеки, он ринется с головой в заманчивое и сулящее ему славу сооружение судоходного канала от Таганрога до открытого моря. Надо было немедленно идти к Ваксову.

Липецкий оробел. Но я настаивал, и в конце концов мне удалось его уговорить.

Зеркала в купеческом особняке были еще завешаны, но Ваксов уже сидел за письменным столом и щелкал на счетах. К рукаву его чесучового пиджака была криво приколоты повязка из черного крепа.

Будущий меценат возвел на нас слезящиеся глазки и спросил, приподнимаясь:

- Чем могу?

Липецкий молчал. Очевидно, по виду Ваксова он уже понял, что ничего из этой затеи не выйдет. Тогда я напомнил Ваксову о его мечте быть передовым и просвещенным человеком своего времени. Я говорил о славе, что покроет его имя лаврами, если он станет благодетелем своего края. Ваксов смотрел на меня внимательно, но в его глазах я не уловил ни тени удивления.

- Чем все-таки могу? — вежливо переспросил Ваксов, выслушав мою триаду.

Я рассказал Ваксову о проекте Липецкого прорыть канал от Таганрога до открытого моря. Правительство этим заниматься не будет.

- С таким правительством пропадешь, как капустный червь, — согласился со вздохом Ваксов.

Я обрадовался. Его сочувствие меня окрылило.

- Нужно, — сказал я, — чтобы просвещенный, влиятельный и богатый человек основал акционерное общество для сооружения канала.

- Так-с! — сказал, помолчав, Ваксов. Он теперь смотрел не на нас, а за окно, где ветер качал акации. — Так-с! Значит, вы меня избрали в просвещенные благодетели? За это чувствительно благодарен. А каков, — он повернулся к Липецкому, — по вашему разумению, должен быть мой денежный вклад в это дело?

Липецкий молчал. Он только с укором взглянул на меня.

- Тридцать тысяч? Сорок? Пятьдесят? — подсказывал Ваксов, сбрасывая костяшки на счетах.

- Я не знаю, — вмешался я, наконец, чтобы прервать эту сцену. — Я не могу судить об этом.

- Так-с! — повторил Ваксов, достал из бокового кармана пиджака бумажник, вынул из него две красные десятирублевые бумажки и положил их перед Липецким на стол.

- Вот! Не взыщите. Больше я на это дело уделить ничего не могу. Прошу иметь в виду, что у меня не судоходный надзор, а торговое дело. Не знаю, известно ли вам или нет, но мой папаша гонял со двора изобретателей. Как мух! И мне завещал. Не доверял, знаете ли. Ничего не поделаешь.

Липецкий поднялся. Голова его дрожала.

- Вот именно, как мух! — повторил Ваксов.

Липецкий разорвал трясущимися руками обе десятирублевки, пододвинул их Ваксову, повернулся и пошел к двери. Он даже не взглянул на меня. В голове у меня все смешалось от ярости.

- Жаль, — сказал я Ваксову, — что вы пережили вашу тетушку. Маслобой!

Ваксов закричал бабьим голосом:

- Вон отсюда! Недоучка!

За дверью стоял сонный лакей с опущенными усами. «Погодь!» — сказал он мне и крепко взял за рукав. Я наотмашь толкнул его в грудь и вышел вслед за Липецким.

Липецкого после этого случая не видел. Мне стыдно было встречаться с ним.

В Таганроге мне больше нечего было делать. Я решил уехать. Денег оставалось немного, но все же их хватало, по моим подсчетам, чтобы добраться до Мариуполя. Там я надеялся найти работу в порту.

В последний раз я пошел к Галагану на корвет. Галаган собирался в город на именины к свояку. Он выслушал мой возмущенный рассказ о Ваксове и сказал, прищурившись:

- Бамбуковое было, видать, у вас положение.

Я не понял:

- Как это бамбуковое?



- Да очень просто. Он же маклак, золотая мошна, а вы до него лезете, как до порядочного человека. Надо же соображать. Смех, честное слово!

Галаган вскоре ушел. Я провел ночь на старом корабле в полном одиночестве.

Была уже осень. С берега долетал, то затихая, то усиливаясь, шелест подсыхающих акаций.

Через сутки я стоял на палубе колесного парохода «Керчь». Пароход ушел из Таганрога в Мариуполь.

Был сизый тихий день. Степные берега затянуло мглой. Изредка солнце, прорвавшись сквозь низкие тучи, загоралось охрой и суриком на обрывах и мысах. Тогда вода у берегов зеленела, и были хорошо видны черные рыбачьи байды и белые стены хат на косе.

Я до боли в глазах вглядывался в берег, надеясь увидеть у порога Петровой хаты Ганну. Но я ее так и не увидел. Должно быть, девочка пошла в степь собирать сухой бурьян для очага.

Мгла сгущалась. Вскоре она закрыла берег, и вокруг ничего не осталось, кроме серой воды и серого неба.

**Таганрог в литературе. – Таганрог:  
ООО «Издательство «Лукоморье», 2007. –  
С. 173-188**